

АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ АНДРИЕВИЧ

Профессор Андрей Антонович Андриевич возвращался с учёного совета и, обходя лужу, споткнулся. Высокое и узкое тело профессора согнулось в направлении спотыкания, очки с переносицы поползли, планируя в лужу, профессор инстинктивно потянулся за ними, хотя ничего страшного не было: линзы пластмассовые, но за очками – и это было ужасно – свалилось и так державшееся очень не прочно лицо. Потеряв лицо и очки, Андрей Антонович подслеповато, в осенней кромешности, плюнув на несгибаемость, трипогибельно изловчившись, стал вокруг ног своих шарить, замарав не только руки, но и не так давно сшитые брюки: фигура у профессора была нестандартная, готовое на нем не держалось, приходилось иметь дело с портным, не только зашитьё завывавшим расценки, но и требовавшим материи больше, чем, как Андрей Антонович полагал, требовалось для пошива. Чем больше А.А. Андриевич исследовал не только мокрый асфальт, но и лужу, чем больше пятнал одежду свою, чем больше грязных брызг вокруг себя поднимал, чем больше успокаивал себя, мол, его совесть чиста, а белая риза, которую сроду не надевал, ничем не запятнана, одним словом, чем больше он суетился, тем меньше была надежда очки найти и лицо

отыскать. И, хотя профессор был очень дотошен, простым языком говорить, чрезвычайно настырен, но его надежда на возвращение статус-кво угасала, словно свеча в старые времена, когда еще не было электричества, а дамы из кокетства обнажали, обходя лужи, приподнимая подола, лодыжки. Тогда и профессора пешком, в сылякотное время в особенности, с ученого совета домой не возвращались, но на извозчиках приезжали, у подъезда лакей поджидал, поклонившись, дверь отворить, снять калоши, согнувшись. Но так было. И так, увы, больше не будет. Потому – пешком без калош-галош возвращайся: тоши сожрали, спотыкайся, и, шаря в грязи бесполезно, ищи очки и лицо. И то сказать, шарить-искать – затея зряшная, глупая, бесполезная. Очки еще можно отмыть. Но – лицо! Отмыть-отскоблить – положим, допустим. Но назад водворить? Как и куда? Наука, даже многих гитик набравшись, потерянное лицо возвращать на прежнее место не научилась. Что ж, теперь стой у лужи и жди, когда научатся водворять? А очки? Если некуда надеть, к чему шарить-искать? Одним словом, страшные мысли в голову Андрея Антоновича даже не лезли, этого бы он не позволил, но сами собой увёртливо проникали. Что с ними делать? Когда такое случалось даже в спокойные времена, когда лицо и очки были на месте, профессор Андриевич обычно терялся. А теперь и вовсе раскис. Ноги промокли. Холод проник под пальто, оттуда просквозил сквозь пиджак, продувая рубашку, чтобы сперва было нервно-щекотно, а затем застыло-постыдно: словно голый, стоишь возле лужи, ни лица, ни очков, ни пальто, ни даже, прошу прощения, исподнего. А в таком виде, в жуткой такой несуразице последние лет шестьдесят Андрея Антоновича не видел никто, кроме одной худощавой студентки, покусившейся на положение и оплату труда профессора Андриевича. Но уже тогда – она звала его долговоюющим А-А-А – чувствовал он: это совсем ненадолго. Так и случилось. Грянуло. Статус упал. Жалованье сморщилось до смехотворности. Худощавая в осенней сылякотности испарилась болотно, а лицо всё чаще стало с того, на чем держалось, неотвратимо сползать. Приходилось все силы душевные и физические тратить на то, чтобы от окончательного сползания и в лужу падения удерживать его до изнеможения. Вот и сейчас, изнывая от холода, сырости и отчаянной трезвости, А.А. Андриевич, профессор, стоял и размышлял, как бы ему удавиться. В смысле, разумеется, переносном. Ведь ни верёвки, ни крюка, ничего на улице мокрой не сыщешь. Можно под поезд. Но железная дорога от лужи, лицо и очки поглотившей, далеко – не дойти, не... Доехать бы можно, только на чём? И как без лица ехать, допустим, в такси или, того гаже, в метро? Можно в реку с моста – и без лица такое прокатит. Но ни мостов, ни рек в городе сугубо сухопутной судьбы не было и в помине. Яду мне, яду! Ну да, без рецепта, сейчас. Приходилось признать, что

руки на себя наложить – дело практически невозможное. Как всегда, профессор оставил зазор: мало ли что, редчайшее стечение обстоятельств, допустим, или же чудо (по нынешним временам в определенных кругах аргумент вполне допустимый, иногда даже с радостью принимаемый, лица отнюдь не лишаящий). Подумал об этом профессор, представил себя на ученом совете выступающим без лица – и ужаснулся: все с лицами, ерго, он лишний, чужак, понаехавший. И тут же слова сродные, наверняка однокоренные в уставшую душу нахлынули: лишенец, лишайник. Что такое лишенец он знал, а что такое лишайник, попытался представить. Не получалось. Никак. Лишайник – это в лесу. Или в парке заросшем. Стал Андрей Антонович вспоминать: где в городе парк, в какой стороне, и, если решит там скрываться, где находится лес. Не осеяло. Тогда стал мозгам помогать, вспоминая, когда был в парке или в лесу, ассоциациями, как кислородом, мозги насыщая. Появились деревья, кусты, мишки с обёртки, и так шоколадной конфеты захотелось Андрюше, что он с постели в чем был вскочил и, стул подвинув, залез, открыл дверцу буфета и шарить стал в темноте, что-то свалилось, разбилось, запрыгалось, закричалось, в ещё не потерянное лицо без всяких очков, резким светом, в уши детским плачем ударило, между стен заметалось. И так Андрею Антоновичу захотелось всё это вернуть: ни ученых советов, ни очков, ни луж, ничего, что мешало жить в предвкушении конфеты, может, и двух, обе с мишками на обёртке. Господи, ворота! Впервые в жизни, ни на что не рассчитывая, на ответ и давно, Андрей Антонович к Всевышнему обратился.

– Куда, Андрей Антонович, вас воротить? Пожалуйста, изъяснитесь яснее.

Растерялся профессор. Попытался тезис основной сформулировать. Не получилось, поэтому промычал:

– Господи, ворота!

Решил Всевышний не чваниться. Излишней педантичностью не стал профессора донимать.

– Наклонись, дружок, подними.

Представил себе Андрей Антонович белобородого старичка с улыбкой сакральненькой и, утешенный, тихо подумал: слава Богу, решил Господь вернуть ему лицо и очки. Хрустнув суставами, согнулся, как прежде, он трипогибельно, пошарил – наткнулся: сухое и теплое, в обёртке, и, хоть было темно, догадался, что с мишкой. Развернул, обёртку бережно снял, откусил кусочек тем, что от бывшего рта оставалось. Стало А.А. Андриевичу, с ученого совета идущему, сухо, тепло, и от нечаянной радости он тихо, никого не тревожа, заплакал.

Душа Сергея Михайловича наконец решилась с его телом расстаться. Эта душа дерзостью обладала, и с телом, мягким и розоватым, словно пяточок умильно свиначий, была не в ладах.

С самого начала союз был неравный. С раннего детства тело было тяжело непомерно, в землю вращало, а душа – воспаряюще необыкновенно легка. Как было ужиться? Всю жизнь, претерпеваясь, тщились нить с нитью сплести, но узел, скрепляющий братский союз, никак не случался. Не смогли: пытались, да не слюбилось.

И вот случилось то, чему давно надо было случиться. Отделившись, тело грузно осело, землю за собой осыпая, в глубины проваливаясь, в тёмные неведомые тартарары.

А душа взлетела стремительно, бабочкой новорожденной облака прорывая. И когда стемнело, красоте дивясь среди звёзд, заматалась метеоритом восторженным, на землю пасть не желающим.

И не вспомнили друг о друге душа и тело, друг друга не пожалели.

ВЯЧЕСЛАВ КСАВЕРЬЕВИЧ НЕСЧАСТЛИВЦЕВ

Вячеславу Ксаверьевичу Несчастливцеву, живущему жизнью одинокой, но праведной, утром неожиданно позвонили. Звонок, да ещё утром, дело не частое. К тому же был понедельник. А когда услышал, откуда звонят, вовсе присел – хорошо стул сам собой под него подвернулся. Звонили не откуда-то там – из полиции, просили прийти и время назначили. Удивляясь себе, Вячеслав Ксаверьевич зачем-то сказал: нельзя ли попозже? Ответили: можно. А куда приходите? Адрес назвали. А к кому обратиться? И это не скрыли. На чём доехать? На это ответили, не раздражаясь, но отрицательно: сами узнайте.

Прийти – через неделю. И всю неделю гражданин Несчастливцев думал-соображал, за что вызывают. Грехи перебирал с того времени, когда был Славиком Несчастливцевым, и до звонка, когда ощутил себя гражданином. Столько лет прожил, и ни одного знакомого адвоката. В какую дикую копеечку обойдётся, хорошо, если поможет.

Выходя на улицу, в магазин, старался Вячеслав Ксаверьевич по сторонам не оглядываться. С утра до ночи и всю ночь до утра, жуя то простынь, то сухари, мучился Несчастливцев, метался: в чём дело, за что? С каждым днём, с каждым часом грехов и прегрешений набиралось всё больше. Придумалось и утешение: не убивал, не домогался, без нужды не искушал, не крал у Клары кораллы и не картавил, даже сдачу не пересчитывал.

Одни грехи помня, другие, тем временем, Вячеслав Ксаверьевич Несчастливцев стал забывать. Чтобы забвения избежать, начал он в уме, а затем и на бумаге, грехи свои структурировать. Появилась таблица. Немного на родословное древо похожа: один грех другой порождает, и греховные связи, за редким исключением, до самого звонка от Славы тянулись.

И снился Несчастливцеву суд, бессмысленный и, как водится, беспощадный. Он в клетке железной. А вокруг клетки шабаш бурным морем бушует: прокуроры, адвокаты, присяжные, понятые. Катюшей Масловой, безвинно страдающей, трансгендерно Вячеслав Ксаверьевич себя ощущает. А клетка сжимается, прутья в тело впиваются, сердце, печень и прочее, навывлет, насквозь безжалостно протыкают и наружу острыми торчат.

Жуткие страсти, спаси-сохрани, Ксаверьичем не заслуженные.

Еле дожил до понедельника. Оделся: костюм, галстук, плащ, из шкафа, забытый портфель; вызвал такси, в котором не помнил, когда в последний раз ездил, и через десять минут стреноженно на третий этаж, стараясь не бежать, вознесясь, был у двери, в которую, стараясь решительно, постучал.

Ещё минут через десять, забыв о том, зачем приглашали, какие вопросы и в связи с чем задавали, весело, бодрым шагом по лестнице вниз торопился, загляделся на девицу, проходящую мимо, споткнулся, упал, одним словом, нога в гипсе, больница.

Понедельник – день скверный. Особенно, когда утром звонят. Тем более, из полиции.



Михаил Юдовский. «Играющий птицам».
Холст, масло.

ЛЕВ ЛЕОНИДОВИЧ

А это имя-отчество, лёгкое, изящное, музыкальное – вздох-выдох кларнетный, смычок на отлёте, с грузным, просевшим обликом кулачко-мужичьим совершенно не сочеталось. Кому пришло в голову? Как угораздило? Не угадалось. Бывает такое. Не всё же Александр Сергеевич – к чёрно-бакенбардной изысканности, романтично-кипренской. Или – Державин. «Н» ещё не отзвучало – а уже бронзовый памятник, тяжело – не Фальконе – руки к Богу вздымает, ноги хлябь поглощает, на ладонях – императрицы на тронах.

Лев Леонидович? Словно насмешка. С густой лохматой чёрно-седой бороды тянутся выстрадавшие религиозные интуиции, до которых великий охотник, тянутся, слюняво свисая, свечно оплывая, собираясь увесистой каплей, готовой плюхнуться в солянку, которую обожает.

Блюдо истинно православное, прекрасно-похмельное, кисло-остро-солёное, а вот бульон – категорически не солить, ещё до закипания обязательно слить. Мясо – говяжье, основа основ, а уж к нему и язык, и копчёные рёбра, и томление лука, на томление духа похожее, и немного моркови, и веточка сельдерея – пастернак с полпути убирая, и маслины – в самом конце, чтобы твёрдыми, как русский дух, оставались, и корень петрушки, и чёрный перец и лавр благородный с венка славы, которым был бы Лев Леонидович непременно увенчан, если бы у него имя-отчество были другими.

Какими? Мало ли. Пётр Кириллович, например. Кирилл Петрович, к примеру.

Главное, чтобы не плыл мягкий затейливый «л», кружевным платочком верхнепалубно прощально-ласково не махал. Но отчётливо, твёрдо, пусть грубовато иной согласный из почвы не просом, и, не дай боже, рисом, но рожью убедительно произрастал.

Краюха ржаного к сборной солянке – лучше нигде никогда не бывало!

АГАФЬЯ

Шла, подолом улицу подметая, и пела самозабвенно, простонародно, курносоголосо. Это было в те времена, когда девочек Агафьями, а мальчиков Агафонами, что на греческом означает «добро», нарекали.

Шла Агафья, выросшая в доме обширном, под крышей железной, с полом тёмно-красным дощатым, в доме, где лишних ртов отродясь не бывало, а двор был полон звуков дневных – ругани безобидной, ржанья, мычанья и лая удивительно звонкого. Шла по улице тёплой южной

рязанской или хоть летней, но пасмурной, северной вологодской, шла напевая или идучи пела. Шла Агафья, голова чуть вздёрнута вверх, словно хлябями подножными брезгуя, шла, вниз не взирая: хоть жемчуга, хоть коровьи лепешки, то ли прежние бежали, власть по дороге теряя, то ли враги их накатывали, упавшую в грязь поднимая. Шла широко Агафья просторно, шла царицей или казачкой донской, гордой и своевольной, служивым барином или сосланным за дуэль ненароком замеченная: на всю жизнь крупногубый, черноглазый, насмешливый профиль запомнит. Шла, елейность, медовость, похотливость взглядов минуя, всё-таки не в рязанскую-вологодскую – в станичную пыль взгляды втаптывая разноцветные, липкие. Шла утормли-вечером – вовсе не суть. Важно лишь, что плывет лебедино, выступает по-царски – скажут другие. Нет, что скажут, неважно. Главное: пыльное пространство под ноги Агафье охотно ложится, пригорками вместе с нею вздымаясь, огибая огромные лужи, берега совсем не кисельные – жидкая грязь, оставленная то ли всемирным потопом, то ли таяньем льдов, понятия не имевшими, что здесь Агафья будет идти.